



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Мистические рассказы



*Гарсиа Маркес, Астуриас,
Борхес, Кортасар, Фуэнтес*

Хулио Кортасар

Рукопись найденная в кармане

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=157568

Гарсиа Маркес, Астуриас, Борхес, Кортасар, Фуэнтес «Мистические рассказы», серия «Мировая классика»: АСТ, Фолио; Москва; 2002

Аннотация

В увлекательных рассказах популярнейших латиноамериканских писателей фантастика чудесным образом сплелась с реальностью: магия индейских верований влияет на судьбы людей, а люди идут исхоженными путями по лабиринтам жизни. Многие из представленных рассказов публикуются впервые.

Хулио Кортасар

Рукопись, найденная в кармане

То, о чем я сейчас пишу, для других могло стать рулеткой или тотализатором, но не деньги мне были нужны. Я вдруг почувствовал – или решил, – что темное окно метро может дать мне ответ и помочь найти счастье именно здесь, под землей, где особенно остро ощущается жесточайшее разобщение людей, а время рассекается короткими перегонами и его отрезки – вместе с каждой станцией – остаются позади, во тьме тоннеля. Я говорю о разобщенности, чтобы лучше понять (а мне довелось многое понять с тех пор, как я начал свою игру), на чем была основана моя надежда на совпадение, вероятно, зародившаяся, когда я глядел на отражения в оконном стекле вагона, – надежда покончить с разобщенностью, о которой люди, кажется, и не догадываются. Впрочем, кто знает, о чем думают в этой толкотне люди, входящие и выходящие на остановках, о чем, кроме того, чтобы скорее доехать, думают эти люди, входящие тут или там, чтобы выйти там или тут, люди совпадают, оказываются вместе в пределах вагона, где все заранее предопределено, хотя никто не знает, выйдем ли мы вместе, или я выйду раньше того длинного мужчины со свертками, и поедет ли та старуха в зеле-

ном до конечной остановки или нет, выйдут ли эти ребяташки сейчас... да, наверное, выйдут, потому что ухватились за свои ранцы и линейки и пробираются, хохоча и толкаясь, к дверям, а вон в том углу какая-то девушка расположилась, видимо, надолго, на несколько остановок, заняв освободившееся место, а эта, другая, пока остается загадкой.

Да, Ана тоже оставалась загадкой. Она сидела очень прямо, чуть касаясь спинки скамьи у самого окна, и была уже в вагоне, когда я вошел на станции «Этьен Марсель», а негр, сидевший напротив нее, как раз встал, освободив место, на которое никто не покушался, и я смог, бормоча извинения, протиснуться меж коленей двух сидевших с краю пассажиров и сесть напротив Аны. Тотчас же – ибо я спустился в метро, чтобы еще раз сыграть в свою игру, – я отыскал в окне отражение профиля Маргрит и нашел, что она очень мила, что мне нравятся ее черные волосы, эта прядь, косым крылом прикрывающая лоб.

Нет, имена – Маргрит или Ана – не были придуманы позже и не служат сейчас, когда я делаю эту запись в блокноте, чтоб отличить одну от другой: имена, как того требовали правила игры, возникли сразу, без всякой прикидки. Скажем, отражение той девушки в окне могло зваться только Маргрит, и никак иначе, и только Аной могла называться девушка, сидевшая напротив меня и на меня не смотревшая, а устремившая невидящий взор на это временное скопище людей, где каждый притворяется, что смотрит куда-то в сто-

рону, только, упаси бог, не на ближнего своего. Разве лишь дети прямо и открыто глядят вам в глаза, пока их тоже не научат смотреть мимо, смотреть не видя, с таким гражданственным игнорированием любого соседа, любых интимных контактов; когда всяк съезживается в собственном мыльном пузыре, заключает себя в скобки, заботливо отгораживаясь миллиметровой воздушной прокладкой от чужих локтей и коленей или углубившись в книжку либо в «Франс суар», а чаще всего, как Ана, устремив взгляд в пустоту, в эту идиллическую «ничейную зону», которая находится между моим лицом и лицом мужчины, вперившего взор в «Фигаро». И именно поэтому Маргрит (а если я правильно угадал, то в один прекрасный момент и Ана) должна была бросить рассеянный взгляд в окно, Маргрит должна увидеть мое отражение, и наши взгляды скрестятся за стеклом, на которое тьма тоннеля наложила тончайший слой ртути, набросила черный колышущийся бархат. В этом эфемерном зеркале лица обретают какую-то иную жизнь, перестают быть отвратительными гипсовыми масками, сотворенными казенным светом вагонных ламп, и – ты не посмела бы отрицать этого, Маргрит, – могут открыто и честно глядеть друг на друга, ибо на какую-то долю минуты наши взгляды освобождаются от самоконтроля. Там, за стеклом, я не был мужчиной, который сидел напротив Аны и на которого Ана не смогла открыто смотреть в вагоне метро, но, впрочем, Ана и не смотрела на мое отражение – смотрела Маргрит, а Ана тотчас отвела взор

от мужчины, сидевшего напротив нее, – нехорошо смотреть на мужчину в метро, – повернула голову к оконному стеклу и тут увидела мое отражение, которое ждало этого момента, чтобы чуть-чуть раздвинуть губы в улыбке – вовсе не нахальной и не вызывающей, – когда взгляд Маргрит камнем упал на мой. Все это длилось мгновение или чуть больше, но я успел уловить, что Маргрит заметила мою улыбку и что Ана была явно шокирована, хотя она всего лишь опустила голову и сделала вид, будто проверяет замок на своей сумке из красной кожи. Право, мне захотелось еще раз улыбнуться, хотя Маргрит больше не смотрела на меня, так как Ана перехватила и осудила мою улыбку. И поэтому уже не было необходимости, чтобы Ана или Маргрит смотрели на меня, – впрочем, они занялись детальным изучением замка на красной сумке Аны.

Как это и прежде бывало, во времена Паулы (во времена Офелии) и всех тех, кто с видимым интересом рассматривал замок на сумке, пуговицу или сгиб журнальной страницы, во мне снова разверзлась бездна, где клубком скрутились страх и надежда, схватились насмерть, как пауки в банке, а время стало отсчитываться частыми ударами сердца, совпадать с пульсом игры, и теперь каждая станция метро означала новый, неведомый поворот в моей жизни, ибо такова была игра. Взгляд Маргрит и моя улыбка, мгновенное отступление Аны, занявшейся замком своей сумки, были торжественным открытием церемонии, которая вопреки всем законам разу-

ма предпочитала иной раз самые дикие несоответствия нелепым целям обыденной причинности.

Условия игры не были сложными, однако сама игра походила на сражение вслепую, на беспомощное барахтанье в вязком болоте, где всюду, куда ни глянь, перед вами вырастет раскидистое дерево судьбы неисповедимой. Мондрианово дерево парижского метрополитена с его красными, желтыми, синими и черными ветвями запечатлело обширное, однако ограниченное число сообщающихся станций. Это дерево живет двадцать из каждых двадцати четырех часов, наполняется бурлящим соком, капли которого устремляются в определенные ответвления: одни выкатываются на «Шателле», другие входят на «Вожирар», третьи делают пересадку на «Одеоне», чтобы следовать в «Ла Мотт-Пике», – сотни, тысячи. А кто знает, сколько вариантов пересадок и переходов закодировано и запрограммировано для всех этих живых частиц, внедряющихся в чрево города там и выскакивающих тут, рассыпающихся по Галереям Лафайет, чтобы заpastись либо пачкой бумажных салфеток, либо парой лампочек на третьем этаже магазина близ улицы Гей-Люссака.

Мои правила игры были удивительно просты, прекрасны, безрассудны и деспотичны. Если мне нравилась женщина, если мне нравилась женщина, сидевшая напротив меня у окна, если ее изображение в окне встречалось глазами с моим изображением в окне, если улыбка моего изображения в окне смущала, или радовала, или злила изображение женщины

в окне, если Маргрит увидела мою улыбку и Ана тут же опустила голову и стала усердно разглядывать замок своей красной сумки, значит, игра началась независимо от того, как встречена улыбка-с раздражением, удовольствием или видимым равнодушием. Первая часть церемонии на этом завершилась: улыбка замечена той, для которой она предназначена, а затем начиналось сражение на дне бездны, тревожное колебание – от станции до станции – маятника надежды. Я думаю о том, как начался тот день; тогда в игру вступила Маргрит (и Ана), неделей же раньше – Паула (и Офелия): рыжеволосая девушка вышла на одной из самых каверзных станций, на «Монпарнас-Бьенвеню», которая, подобно зловонной многоголовой гидре, не оставляла почти никакого шанса на удачу. Я сделал ставку на переход к линии «Порт-де-Вавен» и тут же, у первой подземной развилки, понял, что Паула (что Офелия) направится к переходу на станцию «Мэрия Исси». Ничего не поделаешь, оставалось только взглянуть на нее в последний раз на перекрестке коридоров, увидеть, как она исчезает, как ее заглатывает лестница, ведущая вниз. Таково было условие игры: улыбка, замеченная в окне вагона, давала право следовать за женщиной и почти безнадежно надеяться на то, что ее маршрут в метро совпадет с моим, выбранным еще до спуска под землю; а потом – так было всегда, вплоть до сегодняшнего дня – смотреть, как она исчезает в другом проходе, и не сметь идти за ней, возвращаться с тяжелым сердцем в наземный мир, забиваться в

какое-нибудь кафе и опять жить как живется, пока мало-помалу через часы, дни или недели снова не одолеет охота попытать счастья и потешить себя надеждой, что все совпадет – женщина и отражение в стекле, радостно встреченная или отвергнутая улыбка, направление поездов, – и тогда наконец, да, наконец с полным правом можно будет приблизиться и сказать ей первые, трудные слова, пробивающие толщу застоявшегося времени, ворох копошащихся в бездне пауков.

Когда мы подъехали к станции «Сен-Сюльпис», кто-то рядом со мной направился к выходу. Сосед Аны тоже вышел, и она сидела теперь одна напротив меня и уже не разглядывала свою сумку, а, рассеянно скользнув взглядом по моей фигуре, остановила глаза на картинках, рекламирующих горячие минеральные источники и облепивших все четыре угла вагона. Маргрит не поворачивала головы к окну, чтобы увидеть меня, но это как раз и говорило о возникшем контакте, о его неслышной пульсации. Ана же была, наверное, слишком робка, или ей просто казалось глупым глядеть на отражение лица, которое расточает улыбки Маргрит. Станция «Сен-Сюльпис» имела для меня очень важное значение, потому что до конечной «Порт-д'Орлеан» оставалось восемь остановок, лишь на трех из них были пересадки, и, значит, только в случае, если Ана выйдет на одной из этих трех, у меня появится шанс на возможное совпадение. Когда поезд стал притормаживать перед «Сен-Пласид», я замер, глядя в окно на Маргрит, надеясь встретиться с ней взглядом, а глаза

Аны в эту минуту неторопливо блуждали по вагону, словно она была убеждена, что Маргрит больше не взглянет на меня и потому нечего больше и думать об этом отражении лица, которое ждало Маргрит, чтобы улыбнуться только ей.

Она не сошла на «Сен-Пласид», я знал об этом еще до того, как поезд начал тормозить, ибо собирающиеся выйти пассажиры обычно проявляют суетливость, особенно женщины, которые нервно ощупывают свертки, запахивают пальто или, перед тем как встать, оглядывают проход, чтобы не наткнуться на чужие колени, когда внезапное снижение скорости превращает человеческое тело в неуправляемый предмет. Ана равнодушно взирала на станционные рекламы, лицо Маргрит было смыто с окна светом наружных ламп, и я не мог знать, взглянула она на меня или нет, да и мое отражение тонуло в наплывах неоновых огней и рекламных афиш, а потом в мелькании входящих и выходящих людей. Если бы Ана вышла на «Монпарнас-Бьенвеню», мои шансы стали бы минимальны. Как тут не вспомнить о Пауле (об Офелии) – ведь скрещение четырех линий на этой станции сводило почти к нулю возможность угадать ее выбор. И все же в день Паулы (Офелии) я до абсурда был уверен, что наши пути совпадут, и до последнего момента шел в трех метрах позади этой неторопливой девушки с длинными рыжими волосами, словно припорошенными сухой хвоей, и, когда она свернула в переход направо, голова моя дернулась, как от удара в челюсть. Нет, я не хотел, чтобы теперь то же произо-

шло с Маргрит, чтобы вернулся этот страх, чтобы это повторилось на «Монпарнас-Бьенвеню», и незачем было вспоминать о Пауле (об Офелии), прислушиваться к тому, как пауки в бездне начинают душить робкую надежду на то, что Ана (что Маргрит)... Но разве кто-нибудь откажется от наивных самоутешений, которые помогают нам жить? Я тут же сказал себе, что, возможно, Ана (возможно, Маргрит) выйдет не на «Монпарнас-Бьенвеню», а на какой-нибудь другой, еще остающейся станции; что, может быть, она не пойдет в тот переход, который для меня закрыт; что Ана (что Маргрит) не выйдет на «Монпарнас-Бьенвеню» (не вышла), не выйдет на «Вавен» – и она действительно не вышла! – что, может быть, выйдет на «Распай», на этой первой из двух последних возможных станций... А когда она и тут не вышла, я уже знал, что остается только одна станция, где я мог дальше следовать за ней, ибо три последующие переходов не имели и в счет не шли. Я снова стал искать взглядом Маргрит в стекле окна, стал звать ее из безмолвного и окаменевшего мира, откуда должен был долететь до нее мой призыв о помощи, докатиться прибоем. Я улыбнулся ей, и Ана не могла этого не видеть, а Маргрит не могла этого не чувствовать, хотя и не смотрела на мое отражение, по которому хлестали светом лампы тоннеля перед станцией «Данфер-Рошро». Первый ли толчок тормозов заставил вздрогнуть красную сумку на коленях Аны, или всего лишь чувство досады взметнуло ее руку, откинувшую со лба черную прядь? Я не знал, но в эти

считанные секунды, пока поезд замирал у платформы, паузы особенно жестоко бередили мое нутро, предвещая новое поражение. Когда Ана легким и гибким движением выпрямила свое тело, когда я увидел ее спину среди пассажиров, я, кажется, продолжал бессмысленно оглядываться, ища лицо Маргрит в стекле, ослепшем от света и мельканий. Затем встал, словно не сознавая, что делаю, и выскочил из вагона и устремился покорной тенью за той, что шла по платформе, пока вдруг не очнулся от мысли, что сейчас мне предстоит последнее испытание, будет сделан выбор, окончательный и бесповоротный.

Понятно, что Ана (Маргрит) либо пойдет своим обычным путем, либо свернет, куда ей вздумается, я же, еще входя в вагон, твердо знал: если кто-нибудь окажется в игре и выйдет на «Данфер-Рошро», в мою комбинацию будет включен переход на линию «Насьон-Этуал». Равным образом, если бы Ана (если бы Маргрит) вышла на «Шателе», я имел бы право следовать за ней лишь по переходу к «Венсен-Нейи». На этом, решающем, этапе игра была бы проиграна, если бы Ана (если бы Маргрит) направилась к линии «Де Ско» или к выходу на улицу. Все должно было решиться моментально, ибо на станции «Дафнер-Рошро» нет вопреки обыкновению бесчисленных коридоров и лестницы быстро доставляют человека к месту назначения или – коль скоро речь идет о моей игре с судьбой – к месту предназначения. Я видел, как она скользит в толпе, как равномерно покачивается крас-

ная сумка – будто игрушечный маятник, – как она вертит головой в поисках табличек-указателей и, секунду поколебавшись, сворачивает налево. Но слева был выход прямо на улицу...

Я не знаю, как это выразить: пауки буквально раздирали мне нутро, но я честно вел себя в первую минуту и продолжал идти за ней просто так, машинально, чтобы потом покориться неизбежности и сказать там, наверху: что ж, ступай своей дорогой. Но вдруг, на середине лестницы, я понял, что нет, что, наверное, единственный способ убить пауков – это преступить закон, нарушить правила хотя бы один раз. Пауки, было впившиеся в мой желудок в ту минуту, когда Ана (когда Маргрит) пошла вверх по запретной лестнице, сразу притихли, и весь я внезапно обмяк, по телу разлилась усталость, хотя ноги продолжали автоматически преодолевать ступеньку за ступенькой. Все мысли улетучились, кроме одной: я все еще вижу ее, вижу, как красная сумка, приплясывая, устремляется наверх к улице, как черные волосы ритмично подрагивают в такт шагам. Уже стемнело, порывистый холодный ветер бросал в лицо снег с дождем; я знаю, что Ана (что Маргрит) не испугалась, когда я поравнялся с ней и сказал: «Не может быть, чтобы мы так и разошлись, не успев встретиться».

Позже, в кафе, уже только Ана, ибо образ Маргрит поблек перед реальностью чинзано и сказанных слов, призналась мне, что ничего не понимает, что ее зовут Мари-Клод,

что моя улыбка в окне вагона ее смутила, что она было хотела встать и пересесть на другое место, что потом не слышала моих шагов за своей спиной и что на улице – вопреки здравому смыслу – совсем не испугалась. Так говорила она, глядя мне в глаза, потягивая чинзано, улыбаясь без всякого смущения, вовсе не стыдясь того, что не где-нибудь, а на улице и почти без колебаний приняла мое неожиданное приглашение пойти в кафе. В минуты этого счастья, освежавшего брызгами прибоа, ласкавшего тополиным пухом, я не мог рассказать ей о том, что она сочла бы за манию или безумство, что, собственно, и было безумством, если на это взглянуть иными глазами, с иного берега жизни. Я говорил ей о ее непослушной пряди и ее красной сумке, о ее пристрастии к рекламам горячих источников, о том, что улыбался ей не потому, что я скучающий неудачник или донжуан; я желал подарить ей цветок, дать знак, что она мне нравится, что мне хорошо, что хорошо ехать вместе с ней, что хорошо еще одну сигарету, еще рюмку...

Ни одной секунды мы не фальшивили, вели разговор как старые знакомые и как будто все так и надо и смотрели друг на друга без чувства неловкости. Я думаю, что Маргрит тоже не испытывала бы ложного стыда, как и Мари-Клод, если бы ответила на мою улыбку в окне вагона, если бы так много не размышляла об условностях, о том, что нельзя отвечать, когда с тобой заговаривают на улице и хотят угостить конфетами и пригласить в кино... А Мари-Клод тем време-

нем уже отбросила всякую мысль о моей улыбке «только для Маргрит»; Мари-Клод и на улице, и в кафе даже полагала, что это была хорошая улыбка, и что незнакомец в метро улыбался Маргрит вовсе не для того, чтобы закинуть удочку в другой садок, и что моя нелепая манера знакомиться была единственно справедливой и разумной и вполне позволяла ответить «да», да, можно вместе выпить рюмочку и поболтать в кафе.

Не помню, что я рассказывал о себе, вероятно, все, кроме своей игры, а значит, не так-то много. В один прекрасный миг мы вместе рассмеялись, кто-то из нас первым пошутил, а потом оказалось, что нам нравятся одни и те же сигареты и Катрин Денёв. Она разрешила мне проводить ее до дверей дома, протянула руку без тени жеманства и дала согласие прийти в то же самое кафе и в тот же самый час во вторник.

Я взял такси и поехал домой, впервые погрузившись в себя как в какую-то неведомую и чужую страну, повторяя себе, что «да», что Мари-Клод, что «Данфер-Рошро», и плотно смыкал веки, чтобы дольше видеть ее черные волосы, забавное покачивание головой при разговоре, улыбку. Мы никогда не опаздывали и подробно обсуждали фильмы, говорили о своей работе, выясняли причины некоторых наших идейных расхождений. Она продолжала вести себя так, словно каким-то чудесным образом ее вполне устраивает это наше общение – без лишних объяснений, без лишних расспросов, и, кажется, ей даже в голову не приходило, что какой-нибудь

пошляк мог бы принять ее за потаскушку или за дурочку; устраивает и то, что я не пытался сесть с ней в кафе на один диванчик, что, пока мы шли по улице Фруадево, ни разу не положил ей руку на плечи, избегая этого первого интимного жеста и зная, что она, в общем, живет одна – младшая сестра не слишком часто бывала в ее квартире на четвертом этаже, – не просил позволения подняться к ней.

Увы, она и не подозревала, что существуют пауки. Во время наших трех или четырех встреч они не терзали меня, затаившись в бездне, ожидая дня, когда я одумаюсь, будто бы я уже не думал обо всем, но были вторники, было кафе и была радость, что Мари-Клод уже там или что вот-вот распахнется дверь и влетит это темноволосое упрямое создание, которое, нимало о том не ведая, боролось против вновь проснувшихся пауков, против нарушения правил игры, защищаясь от них легким прикосновением руки, непокорной прядью, то и дело падавшей на лоб. В какой-то момент она, казалось, что-то поняла, умолкла и выжидательно смотрела на меня, очевидно заметив, какие я прилагаю усилия, чтобы продлить передышку, чтобы придержать пауков, снова начинавших орудовать, несмотря на Мари-Клод, против Мари-Клод, которая все-таки ничего не понимала, сидела и молчала в ожидании. Нет – наполнять рюмки, и курить, и болтать с ней, до последнего отстаивая междуцарствие без пауков, расспрашивать о ее жизни, о повседневных хлопотах, о сестре-студентке и немудреных радостях и так желать эту черную прядь,

прикрывавшую ей лоб, желать ее самое как конца, как действительно последнюю остановку на последних метрах жизни, но была бездна, была расщелина между моим стулом и этим диванчиком, где мы могли бы поцеловаться, где мои губы впервые прикоснулись бы к аромату Мари-Клод, прежде чем мы пошли бы, обнявшись, к ее дому, поднялись бы по лестнице и избавились от одежд и ожиданий.

И я ей обо всем рассказал. Как сейчас помню: кладбищенская стена и Мари-Клод, прислонившаяся к ней, а я говорю, говорю, зарыв лицо в горячий мех ее пальто, и вовсе не уверен, что мой голос, мои слова доходят до нее, что она может понять. Я сказал ей обо всем, о всех подробностях игры, о ничтожных шансах на счастье, исчезающих вместе со столькими Паулами (столькими Офелиями), которые всегда избирали другой путь; о пауках, которые в конце концов возвращались. Мари-Клод заплакала, я чувствовал, как она дрожит, хотя словно еще пытается защитить меня, подставить плечо, прислонившись к стене мертвых. Она ни о чем меня не спросила, не захотела узнать ни «почему», ни «с каких пор», ей в голову не приходило уничтожить раз и навсегда заведенный механизм, работающий против нее самой, против города и его табу. Только тихое всхлипывание, похожее на стоны маленького раненого зверька, звучало бессильным протестом против триумфа игры, против дикой пляски пауков в бездне.

В подъезде ее дома я сказал ей, что еще не все потеряно,

что от нас обоих зависит, состоится ли наша «настоящая» встреча; теперь и она знает правила игры, и они упрощаются уже потому, что отныне мы будем искать только друг друга. Она сказала, что попросит две недели в счет отпуска и будет брать с собою в метро книгу, и тогда сырое, враждебное время в этом подземном мире пролетит быстрее; что станет придумывать самые разные комбинации и ждать меня, читая книги или разглядывая афиши. Мы не хотели думать о несбыточности, о том, что, если и встретимся в одном вагоне, это еще ничего не значит, что на сей раз нельзя допускать ни малейшего самообмана. Я попросил, чтобы она ничуть не волновалась, спокойно ездила в метро и не плакала эти две недели, пока я буду ее искать. Без слов она поняла, что, если этот срок истечет и мы не увидимся или увидимся, но коридоры уведут нас в разные стороны, уже не имеет смысла возвращаться в кафе или ждать друг друга возле подъезда ее дома.

У подножия лестницы, которую желтый свет лампочек протягивал ввысь, до самого окна той воображаемой Мари-Клод, что спала в своей квартире, в своей постели, раскинувшись во сне, я поцеловал ее волосы и медленно отпустил ее теплые руки. Она не искала моих губ, мягко отстранилась от меня и, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице, по одной из тех многих лестниц, которые вводили их от меня, не давая идти им вослед.

Я вернулся домой пешком, без пауков, опустошенный, но

словно бы омытый новой надеждой. Теперь пауки мне были не страшны, игра начиналась заново, как не один раз прежде, но отныне с одной только Мари-Клод. В понедельник я спустился на станцию «Куронн» ранним утром и поднялся на «Макс-Дормуа» поздним вечером, во вторник вошел на «Кримэ», в среду на «Филип-Огюст», точно соблюдая правила, выбирая линии с пятнадцатью станциями, четыре из которых имели пересадку; на первой из них я должен был выбрать «Севр-Монрей», на второй – «Клиши Порт-Дофин», произвольно, не подчиняясь никакой логике, ибо ее здесь и не могло быть, хотя Мари-Клод, наверное, выходила поблизости от своего дома, на «Данфер-Рошро» или на «Корвизар», возможно делая пересадку на станции «Пастер», чтобы ехать затем к «Фальгиер». Снова и снова мондриановское дерево раскидывало свои безжизненные ветви, случай сплетал красные, синие, белые пунктирные искушения. Четверг, пятница, суббота. Стоять, стоять на платформе, смотреть, как подходит поезд, семь или восемь вагонов, как они замедляют ход, бежать в хвост поезда и втискиваться в последний вагон, но там нет Мари-Клод; выходить на следующей станции и ждать следующего поезда, проезжать остановку и переходить на другую линию, смотреть на скользящие мимо вагоны – без Мари-Клод; опять пропускать один-два поезда, садиться в третий, следовать до конечной остановки, возвращаться на станцию, где можно сделать пересадку, думать, что она может сесть только в четвертый

поезд, прекращать поиски и подниматься наверх, чтобы победить, а затем, сделав одну-две затяжки горьким сигаретным дымом, снова возвращаться вниз, садиться на скамью и ждать второго, пятого поезда. Понедельник, вторник, среда, четверг – без пауков, ибо я все еще надеюсь, ибо все сижу и жду на этой скамейке, на станции «Шмен-Вер», с этим блоком, в котором рука пишет только для того, чтобы изобрести какое-нибудь иное время, задержать шквал, несущий меня к субботе, когда все, вероятно, будет кончено, когда я вернусь домой один, а они опять проснутся и станут яростно терзать, колоть, кусать меня, требуя возобновления игры, других Мари-Клод, других Паул, – неизбежное повторение после каждого краха, раковый рецидив.

Но сегодня еще только четверг, станция «Шмен-Вер», наверху спускается на землю ночь, еще немного можно потешить себя не такой уж абсурдной мыслью, что во втором поезде в четвертом вагоне может оказаться Мари-Клод, она будет сидеть у окна, вот она видит меня и выпрямляется с криком, которого никто не может слышать, никто, кроме меня; крик мне в лицо – и я прыгаю в закрывающиеся двери, втискиваюсь в переполненный вагон, расталкиваю огрызающихся пассажиров, бормочу извинения, которых никто не ждет и не принимает, и, наконец, останавливаюсь у скамейки, занятой пакетами, зонтами и ногами, а Мари-Клод в ее сером пальто у самого окна; черная прядь чуть шевельнулась при резком рывке вагона, а руки, сложенные на коленях, едва за-

метно вздрогнули в призыве, которому нет названия, который я сейчас услышу, обязательно услышу. Не надо ни о чем говорить, да и невозможно ничего сказать через эту непроницаемую стену отчужденных лиц и черных зонтов между мной и Мари-Клод. Осталось три станции с пересадками. Мари-Клод должна выбрать одну из них, пройти по платформе, направиться к одному из переходов или к лестнице на улицу, и она ничего не знает об избранном мною пути, с которого я на сей раз не сойду. Поезд подходит к станции «Бастилия», но Мари-Клод сидит, люди входят и выходят, рядом с ней освобождается место, но я не шевелюсь, я не могу туда сесть, не могу вместе с ней волноваться до дрожи, а она, конечно, страшно волнуется. Вот остаются позади и «Ледрю-Роллэн», и «Фуардерб-Шалиньи»; Мари-Клод знает, что на этих, без пересадок, станциях я не имею права следовать за ней, и боится шелохнуться; главные ставки в игре будут сделаны на «Рейи-Дидро» или на «Домениль». Вот поезд подходит к «Рейи-Дидро», и я отвожу глаза, не хочу, чтобы она знала, не хочу, чтобы догадалась, что это не здесь. Когда поезд трогается, я вижу, что она сидит; нам остается последняя надежда: в «Домениле» только один переход и один выход на улицу – красное или черное, да или нет.

И тогда мы глядим друг на друга, Мари-Клод поднимает голову и смотрит мне прямо в лицо, смотрит в побледневшее лицо того, кто судорожно вцепился в поручень и не сводит глаз с ее лица, с лица без единой кровинки, с ли-

ца Мари-Клод, которая прижимает к себе красную сумку и встанет, как только поезд поравняется с платформой «Домениль»...